ВЕРА ИНБЕР

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДНЕВНИК

Вера Михайловна Инбер
Почти три года. Ленинградский дневник

Издательский текст
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10274744
Почти три года (Ленинградский дневник): РИПОЛ классик; М.; 2020
ISBN 978-5-00155-232-1

Аннотация

Вера Михайловна Инбер (1890–1972), знаменитая поэтесса, прозаик и переводчица, стала свидетелем всех потрясений XX века: трех революций, Первой мировой и Гражданской войн, Блокады Ленинграда… «Признаки голода: то худеют, то отекают. Стареют от раза до раза, словно их тронула рука гримера. И гример этот – Голод. Человек с крестом, идущий пешком через весь город. Подлинная Голгофа» – записала Инбер в январе 1942 года. В блокадном Ленинграде ее голос звучал по радио, она читала стихи в госпиталях, в лютые морозы ездила выступать на фронт. Блокадный дневник Веры Инбер «ПОЧТИ ТРИ ГОДА» – именно столько длилась Блокада – одно из самых честных, откровенных и пронзительных свидетельств того страшного времени, когда артобстрелы, бомбежки, голод и смерть превратились в повседневный быт ленинградцев. Сама Инбер отказалась покинуть осажденный город, потому что в Ленинграде

остался ее муж, профессор медицины Илья Страшун, автор фундаментального труда «Русский врач на войне». ВПЕРВЫЕ В ОДНОЙ КНИГЕ публикуются блокадный дневник Веры Инбер и все стихотворения поэтессы, посвященные Блокаде Ленинграда, в том числе легендарная поэма «Пулковский меридиан».

Содержание

Ленинградский блокадный дневник автора 6
  - 1941 год 7
  - 1942 год 49

Конец ознакомительного фрагмента. 80

Вера Михайловна Инбер
Почти три года (Ленинградский дневник)

© ООО «Яуза-каталог», 2020

Ленинградский блокадный дневник автора

1941 год

22 августа 1941 года.

Разъезд № 7

Две бомбовые воронки, слившиеся в одну громадную, разбитая цистерна, земля, бурая от нефти, сгоревший паровоз под откосом. И тут же довоенная надпись: «За курение – под суд!» Заплаканная беременная стрелочница (вот-вот родит) тоскливо держит флажок…

Мы снова стоим. Укрытые березовыми ветвями, идут навстречу товарные платформы с машинами и частями машин: это ленинградские заводы. И по степени свежести ветвей можно судить о времени, проведенном поездами в пути.

Маховики, станки, большие и малые зубчатые колеса, плоскости, треугольники. Отдельные части смазаны жиром и обернуты пергаментной бумагой. За платформами – теплушки с семьями рабочих. В одной из них – дети на нарах. Ребячьи головы, тесно прижатые одна к другой, смотрят в окно теплушки. Ни одной улыбки.

В Москве мне рассказывали, что при поспешной эвакуации одних яслей каждому ребенку написали на ручонке его имя химическим карандашом. Но по прибытии на место всех выкупали, смыв таким образом имена. Пришлось вызвать из Москвы матерей, чтобы они опознали своих детей.

А одно дитя так и осталось неопознанным.

Ох, Москва!.. Она не оставляет, следует за мной, ранит сердце. Все вспоминается мне мой полугодовалый внучонок Мишенька, как его увозили в полотняном картузике, великоватом для его головенки, в распашонке и кофточке.

Внесенный в детский вагон, он лежал спокойно, разглядывая всех блестящими глазенками и ухватив рукой собственную ножку. У меня не хватило сил еще раз войти в вагон взглянуть на него. Так и увезли…

Наш поезд тронулся, наконец. Товарный – тоже. Он – из Ленинграда, мы – в Ленинград. Долго провожали друг друга глазами.

23 августа 1941 года.

Неизвестная станция

Остановились на рассвете. И вот – стоим. Станция неизвестная, вокзал далеко. Ни самолета в воздухе, ни выстрела на земле. Уж лучше бы гремело и грохотало, все было бы легче.

Наш вагон неразговорчив, да и пустоват. В одном купе идет нескончаемый дорожный преферанс, но тихо, словно под сурдинку. Генерал-лейтенант, задумчиво насвистывая, объявляет масть. Военный инженер то и дело выстукивает трубку о край стола – тихий звук, похожий на постукивание дятла. Трубочный дымок выплывает в коридор, слоится, утончается, повисает в солнечном луче. Порой становится так тихо, что кажется – поезд идет по мху.

За все это время только в Волхове пролетели над нами два «ястребка» и прошел мимо небольшой отряд морской пехоты – сверкнули на солнце золотые якорьки… И все.

Справа и слева от рельс – воронки, наполненные водой. Она здесь набегает быстро. Вдоль телеграфных столбов тоже воронки, но маленькие. Немцы бомбили экономно, по-немецки: крупные фугаски тратили только на полотно, а на линию телеграфных проводов клали бомбочки помельче.

Мертвый лес, опаленный разрывами. И в одном месте все деревья вывернуты корнями вверх. На опушке – березка. Ее кора с крапинками, скобочками, штрихами и точками напоминает стенограмму. Здесь вся история ее жизни. Теперь эта запись оборвана на полуслове: все обуглено, расщеплено, мертво…

Только что узнали название станции: Мга. Мы ведь вообще до войны этой дороги не знали, все ездили по Октябрьской. Теперь между Бологим и Тосно – уже немцы.

А здесь – какие смолистые, дремучие названия: Мга, Будогощь, Хвойная…

24 августа 1941 года.
Ленинград

Первое, что мы здесь увидели, еще на вокзальной площади, – это расклеенное по стенам домов и залитое утренним солнцем обращение, подписанное Ждановым и Ворошиловым: «Товарищи ленинградцы, дорогие друзья!..»

Оно появилось 21 августа, а Илья Давыдович уехал за мной в Москву 13-го. За эти дни положение Ленинграда резко ухудшилось. И все же мой муж правильно поступил. Он все время говорил: «Если случится война, мы должны быть вместе». И вот мы вместе.

26 августа 1941 года

Наша квартира на Песочной, на пятом этаже, – высокая, светлая, полупустая.

Только книжные полки и тарелки на стенах в изобилии. Неувядаемые елисаветинские и екатерининские розы, николаевский, синий с золотом, орнамент. Серо-белый фаянс. Хрупкое хозяйство. Куда с ним сейчас?!

Окна спальни и балкон выходят на Ботанический сад. Хотя еще жарко, но какие-то деревья уже готовятся к осе ни: вырядились во все золотое и алое. А что еще будет в сентябре!..

С балкона хорошо видна громадная пальмовая оранжерея, вся из стекла. Зеленые газоны, аллеи… Народу в саду мало. Я еще не была там ни разу. Пойдем в воскресенье.

Дом, где мы живем, занят Фармацевтическим институтом. Рядом с нами, за стеной, общежитие студенток. Здесь же, совсем близко, перейти только речку Карповку, – Первый медицинский институт и его клиническая «база» – бывшая Петропавловская больница, а теперь больница имени Эрисмана.

Эрисман – человек большого сердца и ясного ума. Ученый-гигиенист, много сделавший для России.

Больница его имени и Первый медицинский институт –

это целый городок: множество больших и мелких корпусов среди прекрасных старых деревьев времен еще «архиерейской рощи». Когда-то здесь было архиерейское подворье, а еще раньше – в эпоху основания Петербурга – мыза Феофана Прокоповича. Места, богатые воспоминаниями.

До войны И. Д. заведовал в институте одной из кафедр, а теперь назначен сюда директором.

27 августа 1941 года

Ответственный секретарь здешнего Союза писателей Кетлинская обрадовалась мне и тотчас же стала звонить на радио. Я пошла туда прямо из Союза и договорилась, что буду выступать на следующий день.

Передача называлась: «Москва – Ленинграду!»

Я начала ее так:

«Товарищи! Ленинградцы! Граждане города Ленина! Выступая в эту минуту перед вами, мне хочется передать вам привет от Москвы, от моего города, который в эти грозные дни так же мужествен и тверд, как ваш Ленинград. Так же отдает себе отчет о размерах опасности, нависшей над страной. И так же полон веры, что опасность эта будет преодолена, что враг будет разбит. Москва и Ленинград, как сестра и брат, подают друг другу руки, говоря: «Победа – за нами!»

Я цитировала Герцена:

«Рассказы о пожаре Москвы, о Бородинском сражении, о Березине, о взятии Парижа были моею колыбельной песнью, детскими сказками, моей Илиадой и Одиссеей», – пишет Герцен. А теперь и мы думаем о том, перед сколькими поколениями наших потомков нынешние московские ночи встанут героическим эпосом, развернутся отечественной Одиссеей, русской Илиадой».

Закончила я так:

«Гитлеризм будет уничтожен, сметен с лица земли. А ты, Москва, родная, великая столица, сердце родины и колыбель героев, и ты, Ленинград, город, носящий имя Ленина, краса и гордость страны, – вы будете стоять непоколебимо, как стояли в веках».

Эту мою передачу слышали и слушали многие. Оля Ч. услыхала ее в магазине, в очереди, и таким образом узнала, что я в Ленинграде.

28 августа 1941 года

Сегодня И. Д. встретил знакомого врача одного военного госпиталя, который неделю назад уехал было из Ленинграда. Все это время госпиталь простоял в вагонах на путях, но уехать не смог. И вернулся обратно.

Дорога на Мгу, последняя наша дорога, перерезана немцами. Сама Мга взята чуть ли не на следующий день после нашего приезда.

1 сентября 1941 года

У нас по нескольку тревог в день: десять, пятнадцать. Вернее – одна сплошная тревога с короткими перерыва ми. Но тихо, даже зениток не слышно. Все происходит где-то там, за горизонтом. Чувствуется, что «юнкерсы» ходят кругами на подступах к городу, а пробиться не могут. Но ведь может наступить такой день, когда они пробьются, как это было в Москве.

И, как назло, необычайно прекрасны тогда были московские закаты. Солнце алым шаром подтягивалось к горизонту. И по мере того как оно опускалось, подымались аэростаты, словно один и тот же механизм заведовал этими спусками и подъемами.

Однажды, помню, луна взошла громадная, во все окно, неестественно розовая, вся какая-то словно восковая. И вмятины на ней как отпечатки пальцев, точно ее держали в горячих руках.

Взяла пишущую машинку и стала спускаться в убежище. Иду по лестнице, а впереди сумасшедшая старуха. У нее умер муж, а она думает, что он остался в квартире. Идет и плачет:

– Он все время был со мной и вдруг отстал. А я еще его пальто надела. Как же он теперь без пальто?

Я сошла вниз. Там какая-то чужая женщина, не из нашего дома, мечется в ужасе, ищет своего грудного ребенка, спрашивает всех – не видел ли кто? А ребенок у нее на руках, в платке.

В часы налетов я свою московскую квартиру не запирала на случай пожара от зажигалок: мой этаж был последний. Кроме того, дежурные по крыше приходили ко мне иногда пить воду.

Как-то я поднялась к себе еще до отбоя. У открытого окна стояли двое из наших жильцов, разговаривая вполголоса. Звезды, особенно блестящие, как это всегда бывает перед рассветом, словно влажные от росы, сияли над кремлевскими стенами. Вдали небо багровело от пожаров.

Я подошла, мы стояли втроем у окна, долго смотрели на это далекое пламя.

4 сентября 1941 года

Была в редакции военной газеты, как раз тогда, когда возвратились с передовых позиций заведующий редакцией, два наших московских писателя и шофер.

Они входят в комнату. Все в шинелях, у каждого за поясом граната. У шофера, идущего сзади, их целых четыре. В руках у него ручной пулемет, который он ставит в угол, между диваном и шкафом, и машинистка, идущая за копиркой, с грохотом роняет его. Хорошо, что пулемет был на предохранителе!

Выложив гранаты на стол, приехавшие разворачивают карту и погружаются в нее. Все мрачны. Поездка была неудачна, наших потеснили. Немцы бомбили штаб нашей армии. Кроме того, все голодны.

Внезапно звонит телефон: сообщают, что одна наша зенитная батарея сбила пятнадцать вражеских самолетов. Неслыханная цифра!

И все, подхватив гранаты и пулемет, забыв про голод, устремляются к двери: едут на батарею.

5 сентября 1941 года

Заметка в «Ленинградской правде» о том, как работают кооперативные артели. «Технорук одной из них, явившись в руководящую организацию, положил на стол новенький электроутюг и рядом с ним еще один предмет. «Все мы уважаем этот утюг, – сказал он. – Это наше дело. Но родина нуждается сейчас в другой продукции. Поэтому мы хотим покончить с утюгом, – население как-нибудь временно обойдется без него, – и заняться вот этой «штучкой». Мы все уже обсудили, взвесили, только позвольте начать». Позволили. И сейчас артель изготовляет «штучку» – крохотную детальку, без которой ружье мертво: выстрел не получается.

7 сентября 1941 года

Когда начинается тревога, на нашу лестничную площадку выходит дежурный студент-фармацевт и крутит местную сирену, похожую на кофейную мельницу с длинной ручкой…

Трасса окопных работ проходит вблизи Петергофа. А немцы, конечно, будут бить по фонтанам.

Видела в руках молоденького красноармейца трофейный немецкий тесак.

8 сентября 1941 года

Удивительная, редкостная осень. Дождей нет. И в сухом и тихом тепле деревья желтеют сохранно, не теряя листьев. Так и стоят – пурпурные, янтарные, лимонно-желтые.

И. Д. целый день в институте. Я одна в наших высоких, слишком светлых комнатах. Во время тревоги выхожу на балкон. И без того тихая Песочная улица становится тогда совершенно безлюдной. Только дежурные МПВО в касках стоят у подъездов, глядя в небо, да изредка пробежит ученик-ремесленник. Их общежитие на территории Ботанического сада, в одном из зданий.

Про них хорошо сказала кондукторша трамвая:

– Ведут себя, как хозяины.

На подножках висят, на площадках толкаются, но я их уже и не трогаю. Ведь скоро пойдут на фронт, окопы рыть.

На оборонных сооружениях, где работают студентки Мединститута, прямо к ним на руки спустился на парашюте легко раненный наш летчик. Бой шел совсем рядом.

9 сентября 1941 года

Вчера – первый большой налет на Ленинград.

Днем, как обычно, было несколько тревог, но мы все же решили пойти в «Музкомедию» на «Летучую мышь». Пошли мы, Николай Иванович Озерецкий с женой Аленой и Федя П. Для меня он все тот же Федя, невзирая на пятый десяток и звание юрисконсульта одного из наркоматов. Он не эвакуировался, остался. Держат его здесь удобная, обжитая квартира, ковры, книги.

Николай Иванович – заместитель И. Д. по институту, психиатр, умный мужик. И говорок такой занятный.

В антракте между первым и вторым действиями началась очередная тревога. В фойе вышел администратор и тем же тоном, каким, вероятно, сообщал о замене исполнителя по болезни, внятно произнес: «Просьба к гражданам стать как можно ближе к стенам, поскольку здесь (он указал рукой на громадный пролет потолка) нет перекрытий».

Мы повиновались и стояли у стен минут сорок. Где-то вдали били зенитки. После отбоя спектакль продолжался, хотя и в уторопленном темпе: были опущены второстепенные арии и дуэты.

Когда мы вышли из театра, еще не совсем стемнело. Синий вечерний свет мешался с красноватыми отблесками. Алые блики реяли по площади, мы даже не сразу поняли, в чем дело. Вдруг видим – шофер Ковров делает нам знак, а мы машины не заказывали. Ковров говорит:

– Решил заехать за вами, лучше скорее быть дома.

И лицо у него в этом бенгальском освещении бледное, смятенное.

Когда машина обогнула площадь, внезапно нам открылись черные клубящиеся горы дыма, подсвеченные снизу пламенем. Все это громоздилось в небе, взбухало, пускало страшные завитки и отроги. Ковров повернулся и сказал глухо:

– Немец бомбы бросил и поджег продовольственные склады.

Пока мы ехали, была еще одна тревога. Дома долго стояли на балконе, всё глядели на горящие склады. В одиннадцать легли спать. Но в два часа ночи пришлось (первый раз в Ленинграде) спуститься в убежище. Слишком грозно гудели немецкие моторы прямо над нашими головами. Зенитки не умолкали. Порой раздавался гул, уже знакомый нам по Москве.

Убежище длинное, вдоль стен – скамьи. На стене, на полке, радиорупор. Рядом – аптечный шкафчик. На скамьях сидели, дремали женщины с детьми. Разговоры вполголоса и шепотом у двери, где дежурило МПВО.

Вдруг ребенок, мальчик, идет, идет на толстеньких ножках через весь подвал между скамьями. Все молча смотрят на него. Берет табуретку, подтаскивает к стенке, где радио, взбирается на табуретку, – все это сам, – снимает с полки рупор и, прижав его к уху, слушает изо всех сил, вникает в глубину, не раздастся ли там желанное слово «Отбой».

10 сентября 1941 года

Сгоревшие Бадаевские склады – центральная кладовая Ленинграда, его «продовольственное сердце». Зловещий дым, жирный, слоистый и тяжелый, – это были горящий сахар, мука, масло…

Вот уже две ночи ночуем в институте. Позапрошлая ночь была теплая, лунная, до того яркая, что весь город, наверное, как на ладони оттуда, с немецких самолетов.

Санитаркам в белых халатах запрещено перебегать по двору. Больничные здания тоже белые, точно и они в халатах. Но их уж не укроешь накинутым на плечи темным платком. Зенитные вспышки кажутся бесцветными в этом лунном пламени. Прожекторы бездействуют. «Юнкерсы» идут волнами. Пройдут, некоторое время тихо, а потом – снова.

Вчера И. Д. хотел проверить, как спускают больных в убежище. Пошла и я с ним. Только вышли из акушерской клиники – вдруг свист бомбы. Я испугалась, мы побежали, но взрыв раздался прежде, чем мы успели вскочить в двери главного здания. Я вся пригнулась, ожидая взрывной волны. Однако ее не было или пошла в другом направлении.

Потом в нашем штабе нам сказали, что одна из бомб упала возле Зоосада. И будто бы засыпало слониху. На другую ночь – опять бомбы, и снова в том же месте. Это гитлеровцы метят в химический завод, а попадают в Зоосад. Говорят, что перебиты обезьяны, а обезумевший соболь бегает по улицам.

А как нестерпимо воют во время налетов подопытные институтские собаки! Бедняги, они с «павловскими» фистулами: им и без того не сладко!

11 сентября 1941 года

Вишневский, Тарасенков, Браун успели еще принять участие в выпуске последнего номера газеты, когда в Таллин уже входил враг.

Прорыв Балтфлота из окружения был тяжел. Немецкие пикирующие бомбардировщики неотступно следовали за нашими кораблями: тут были военные транспорты, миноносцы, катеры, пароходы… Все это день и ночь шло под бомбежкой. Спасшихся людей бомбы настигали на втором, а иногда и на третьем корабле (Браун).

Как это хорошо, что Всеволод Вишневский здесь!

13 сентября 1941 года

Вчера, около десяти вечера, нас в машине затерло колонной военных грузовиков у Ботанического сада.

Луна еще не взошла. Ночь была душная, черная, облачная. Машина пришла за нами, чтобы отвезти часть наших вещей в институт: мы ведь теперь наполовину там живем.

Пока мы собирались, наступила кромешная тьма. Грузовики в величайшем беспорядке загромоздили всю улицу. Стояли вдоль, вкось, поперек, на панели, на мостовой, нос к носу… Командир колонны куда-то исчез.

Наш шофер попытался было на секунду включить фары, но тотчас же чей-то бешеный голос закричал:

– Мне не антиресно видеть твой свет! А ну, гаси!

Шофер ответил робко:

– Мне и самому не антиресно, милый друг, да ведь ничего не видать.

А тут еще, как полагается, началась тревога. Застонали, завопили в этой тьме сирены. И сразу же в низких облаках зловещее гудение. А уйти некуда: сбоку и сзади напирают тяжелые грузовики, только треск идет. Наконец, впереди что-то задвигалось, зафыркало, грузовики тронулись. Прошли два-три метра. «Стой!» Прямо на нас, радиатором к радиатору, тоже легковая. Опять стали пятиться, задели кого-то. Но, в конце концов, пошли. Взяли влево по набережной Карповки. Шофер говорит: – Не вижу мостика через речку. Как бы не угодить в воду!

Этого еще недоставало…

Повернули наугад и все же попали на мост (в том месте, где Карповка впадает в Невку), только перила задели. Пошли по улице Льва Толстого, снова на миг зажгли огонь. Патруль: «Пропуск ВТ». Говорим: «Есть». У машины-то он действительно есть, да у меня ночного пропуска нет, а уже больше десяти часов. А теперь с этим строго.

Поехали дальше: не можем найти своих ворот. Снова зажгли огонь. А тут милиционер:

– Еще раз зажжете – стрелять буду! И ведь не шутит.

Ехали мы до дому около часу. Шофер был еле жив. Говорит:

– На мне вся рубаха взмокла от пота, до того тяжело было ехать.

Грозное что-то и тревожное было в этом ночном и беспорядочном скоплении машин в самом городе.

Сегодня плохая сводка: мы оставили Чернигов.

Артиллерийские снаряды нет-нет и ложатся на город. Вчера ночью три попало на Верейскую, возле Обводного канала. Это хуже, чем бомбежка. Никакого предупреждения, никакой тревоги. Сразу смерть или раны.

16 сентября 1941 года

Как-то странно сделалось на душе, когда свежий женский голос сказал кратко: «До конца войны телефон выключен…» Я попыталась что-то возразить, протестовать, но сама поняла, что бесполезно. Через несколько минут телефон звякнул и умолк… до конца войны.

И квартира сразу замерла, захолодела, насторожилась. Оторвалась от всего города. И так телефоны были выключены повсюду в один и тот же час. Остались только считанные: в учреждениях (особо важных), в больницах, в госпиталях.

17 сентября 1941 года

Пришла ко мне родственница Пушкина (ее бабушка – двоюродная сестра Александра Сергеевича). Сама она вылитая Ганнибал: черные вьющиеся волосы, арапские глаза, толстоватые губы, которые при улыбке складываются совсем необычно. Какая крепкая кровь!

Вера Каэтановна без места, не приспособлена. Ее учреждение эвакуировалось, а она почему-то осталась.

Дала ей полкило чечевицы, кусок черного хлеба и пятьдесят рублей денег. Дочь ее бежала из Пушкина. Сын, больной художник, не встает с постели.

Родственница Пушкина, бегущая из Пушкина от немцев… Все это не так легко придумать даже очень опытному романисту.

Окончательно переехали в институт на так называемое «казарменное положение».

Наша комната очень мала: письменный стол у окна, две железные кровати, этажерка, кресло и два стула, Для умывания приходится вносить табурет и таз.

По стенам – портреты великих врачей и среди них гравюра: «Английский врач Дженнер делает первую прививку оспы восьмилетнему Джемсу Фипсу с руки молочницы Сарры Нельме».

В комнате – круглая железная печка. Ее по утрам уже протапливает Евфросинья Ивановна. За окном – могучие тополя. Мы внушили себе, что они защитят нас от осколков. Да и сама комната хорошо расположена. В глубине буквы «П», между крыльями дома.

Особенно хороша эта комната вечером, когда мрак заливает весь город и всю территорию больницы. Идешь, и даже не верится, что где-то есть свет. Мрак, первозданный мрак стоит стеной. Ночи сейчас темные, луна ущербная. Умирающая, она появляется только на рассвете.

Идешь по двору, потом проходишь холодный каменный вестибюль главного здания. Горит синяя лампочка, дежурная сидит над книгой. Далеко бьет артиллерия. Небо полыхает на горизонте: там идет воздушный бой. Во двор только что привезли раненых. Вчера понесли одного на носилках, по лестнице, а за носилками кровь – со ступеньки на ступеньку. Поставили на минуту носилки, подняли – осталась лужа крови. Раненый – молодой парнишка, белый, как бумага, – прямо с фронта. Привезли – и сразу на операционный стол. Ампутировали ногу.

После этого двора с ранеными, после холодной лестницы и темного коридора я вхожу в нашу комнату, где светло и тихо. Окно непроницаемо укрыто. На письменном столе горит маленькая электрическая лампа, которую я привезла с собой из Москвы, и этот кружок света кажется мне прибежищем, тихим раем. Моя комната представляется мне защитой, очагом, опорой.

Конечно, все это иллюзорно. Но эта одна из тех иллюзий, которые помогают жить.

Вчера поздно вечером, еще во время налета, мы пришли в приемный покой, куда только что привезли пострадавших.

Молоденькая работница консервного завода ждала операции. Беременная на седьмом месяце, она сидела в металлическом кресле, в простыне. Лицо розовое от жара, удлиненные синие глаза полузакрыты, светлые, точно влажные, волосы лежат кольцами по плечам. Сборчатая больничная рубаха слегка раскрыта на груди.

Снаряд влетел к ним в цех (здание деревянное) и из двадцати человек убил восемнадцать. Осталась вот эта молоденькая и еще одна. Раненую положили на стол, она дрожала, ей дали наркоз. Осколок попал в ногу, около пятки, глубоко. На рентгене он был виден очень ясно.

Началась операция. Взрезали ногу и щипчиками стали вытягивать осколок; но сначала его искали еще иглами, а найдя, вытащили не сразу: трудно было ухватить. В промежутке между зенитными разрывами слышно было, как щипчики скребут по металлу.

Оперировала Оглоблина Зинаида Васильевна – одна из старейших здешних врачей.

Она и училась здесь еще в то время, когда Первый медицинский институт был Женским медицинским институтом; первым в России. Сейчас она неутомима. По неделям не уходит домой, по суткам не отходит от операционного стола.

Мы ушли до окончания операции. Но Борис Яковлевич, главный врач больницы, принес мне потом осколок, как я просила. Это маленький кусок металла, медный снаружи, стальной внутри.

Наша Петроградская сторона считается наиболее безопасной: сюда эвакуируют людей из других районов города. Привозят прямо на трамвае, с узлами, с колыбельками, ванночками, кастрюлями, цветами, книгами.

Средняя Рогатка, куда я ездила недавно на машине «Известий» почти до самого Пулкова, – теперь передовые позиции. Немцы там совсем рядом.

18 сентября 1941 года

Вчера пошли в студенческое общежитие. Было темно. На горизонте – два зарева. Общежитие помещается в бывших Гренадерских казармах. Здесь жил когда-то Александр Блок, его отчим был военный.

Тихая набережная Невки, рядом – Гренадерский мост. Здания на противоположном берегу (особенно одно, с покатой крышей), их отражения в воде, розовые и серые, затонувшая баржа – во всем этом есть что-то голландское. А еще это напоминает мне то место в Копенгагене, где у пристани стоят старинные хлебные амбары и чистые тяжелые голуби клюют просыпавшееся зерно.

Слева от казарм, вдоль Невки – все тот же Ботанический сад.

Казармы – могучее здание с несокрушимыми стенами. Его подвалы (там в тот час был только одичавший черный кот) как бы специально приспособлены для укрытия от бомб.

Одна мысль, один вопрос: устоит ли Ленинград?

19 сентября 1941 года

Ночь была до ужаса тиха. Казалось, город не дышит, лежит во тьме и ждет. А утром началось.

Слушали по радио очерк Эренбурга о Западном направлении. И очерк хорош, и дела там хороши. Зато здесь!..

Прекрасно сказано у Эренбурга: «Победа изображается с крыльями, но у нее тяжелая нога. Она передвигается по земле в грязи и крови. И добывается с трудом». Так примерно.

У меня в мозгу как будто «минные поля», куда нельзя ступить. Жанна с Мишенькой – это «поле». Деревянный дом в Переделкине, в соснах и березах, – тоже «поле». И все же быть там сейчас я бы не хотела. Мне хотелось бы быть на фронте. Но там, где мы побеждаем.

Каждый вечер здесь, в больнице, тяжело раненные просят:

– Спустите нас в убежище.

Они волнуются больше, чем те, кто никогда не был в бою.

На дворе все та же золотая осень. Старые деревья роняют желтые листья на больничные дорожки. Сегодня сюда переезжает еще один госпиталь: морской.

Вчера кто-то назвал нашу Петроградскую сторону «глубоким тылом». Но если это и «тыл» для артиллерии, то не для авиации: тому доказательство сегодняшнее утро…

Мужество так же заразительно, как и трусость.

20 сентября 1941 года

Вчера очень тяжелый день: много жертв и разрушений. В разных концах города гремело и рушилось.

Мы приехали на машине на Разъезжую, к Леле П., через полчаса после того как туда упали две бомбы: одна на мостовую между домами на Большой Московской, другая во дворе. Лелин дом пострадал от обеих бомб. Рядом все было разрушено, оттуда выносили раненых и убитых.

Двор усыпан стеклом и кирпичом. В самой квартире, на полу, штукатурка, грязь, известка, как во время ремонта. И рядом с комнатой, где сидела Дина Осиповна – Лелина мать, рухнувшая печь навалом. Вся квартира ужасна.

Леля – моя землячка, одесситка. Мы друг друга знаем чуть ли не с детства. Я вспоминаю ее осенью 1913 года в Париже – веселую, юную, нарядную. Целой компанией мы отправились на какое-то гулянье. Катались на карусели под музыку. Усевшись в ряд на парапет, ели каштаны, глядя на Париж в опадающих листьях, в первых вечерних огнях.

Теперь у Лели дочь Инна – красивая суровая девушка, мечтающая стать штурманом дальнего плавания.

Когда мы приехали на Разъезжую, Леля была на службе. Дина Осиповна вышла к нам, ступая по обломкам.

Сегодня видела одного майора, прилетевшего из Москвы и сегодня же улетающего обратно. Он рассказал о Жукове и закончил словами: «Ленинград останется наш, его сдать невозможно». И объяснил почему. И хотя все это было уже известно и десятки раз переговорено и передумано, но услышать подтверждение этому от человека, побывавшего под Ельней, – как это было отрадно, жизненно необходимо, необыкновенно важно.

Вчера от зажигательных бомб горели больницы: Куйбышевская, Александровская и еще два военных госпиталя.

От военного госпиталя на Советском проспекте шел дым, как от горящей нефти.

Вчера бомбы падали в Новой Деревне на рынок. Оттуда привезли пятьдесят человек. Раненая девочка лет семи все жаловалась, что ей больно от резинового жгута, стягивавшего ногу. Ее утешили, сказав, что скоро будет легче, потом усыпили и ампутировали ногу. Она пришла в себя и сказала:

– Вот хорошо, теперь уже не больно.

Девочка не знала, что у нее нет ноги.

22 сентября 1941 года

Мы оставили Киев. Смутно на душе.

Вчера днем несколько тревог. Поехали в город – тревога. Заехали переждать ее к Озерецким. Они живут в бывшем дворце Кирилла Разумовского. Комнаты высоки, огромны и холодны. Все говорит об ином, XVIII веке. А над дворцом летает XX век в образе «юнкерса», нагруженного авиабомбами.

Сегодня поехали в город к Т., в газету Балтфлота. Только поднялись наверх – тревога. Входит краснофлотец и говорит:

– Приказано всем идти в укрытие.

Мы двинулись по коридору. В этот миг задрожал дом: бомба упала рядом, в Апраксином дворе.

В убежище, в углу, под сводами Росси, Т. разостлал свою шинель. Мы сели. Он вытащил из кармана пачку писем от жены и стал мне читать. И удивительно, просто невероятно было слышать слова нежности и любви под гул и взрывы.

Поехали домой, не дождавшись конца тревоги. Подъезжаем к институту, и еще у входа нам говорят, что в студенческое общежитие (Гренадерские казармы) упала бомба минут двадцать тому назад. Мы – туда.

Подъезжаем, смотрим с тревогой – стоит ли здание? Стоит. Даже стекла вылетели только кое-где. Бомба (небольшая, видимо килограммов пятьдесят) упала во дворе. Воронка уже была полна воды и грязи. Но даже от этой небольшой бомбы здание дало трещину. Куски штукатурки упали на студенческие кровати. Тот, кто лежал бы на кровати в эту минуту, не встал бы с нее живым.

Меня взволновало, что в эти дни в осажденном городе, под бомбами, Шостакович пишет симфонию. И главное, что «Ленинградская правда» сообщает об этом среди сводок с Южного фронта, среди эпизодов о «стервятниках» и о бутылках с горючим. Значит, искусство не умерло, оно еще живет, сияет, греет сердце.

23 сентября 1941 года

Я видела на Пушкарской шестиэтажный дом, прошитый бомбой от крыши до основания. Он так и стоит, треснувший сверху донизу. Крыша отошла сверху, как корка непропеченного хлеба.

Проходя мимо него, мы видели, как с высоты шестого этажа на косо натянутом тросе спускали вниз диван: он медленно полз вниз, повиснув над пустотой.

Немцы применяют новую тактику: бросают сперва фугасные бомбы, а когда здание разворошено и беззащитно, забрасывают его зажигалками. Так былое военным госпиталем, где погибло много раненых.

Сегодня наш главврач получил приказание: возле кровати каждого тяжело больного должны стоять носилки. В каждой палате должны быть веревочные лестницы.

У нас очень тревожное соседство: Гренадерские казармы. Ведь только часть их отведена под студенческое общежитие, а в остальных зданиях расположена воинская часть. Туда часто (увы, не слишком, недостаточно часто!) привозят ящики снарядов. Иногда их доставляет вагон трамвая, иногда баржа по речке Карповке. На тихом бережку, неподалеку от нашей прозекторской, стоит зенитная батарея. Все это видно сверху немцам.

Насупротив, среди деревьев, укрывается аэростат со своим запасным баллоном. Это тоже опасное соседство для госпиталя. Да и самый госпиталь… Ведь фашисты бомбят их особенно старательно.

Впрочем, после того как во дворе казармы паренек, указав мне на воронку от бомбы и на место, где он стоял, сказал: «Я был там», – я поняла, что никакой защиты быть не может. Все это дело случая. Надо только опасаться стекол – это единственное, что можно сделать.

24 сентября 1941 года

Сегодня утром (чудесное, все золотое) примерно в десять, в начале одиннадцатого, за несколько секунд до тревоги, на нашу территорию упала бомба, но не разорвалась. Она и сейчас лежит глубоко в почве.

Она упала возле поликлиники, рядом с чугунным фонтаном. Над ней весь день работала саперная бригада, но достать не смогла. Оставили до завтра. Бомба очень велика, – это видно по отломившемуся куску стабилизатора. Трамваи мимо нас не ходят, пешеходов не пускают. Мы оцеплены. Акушерское отделение и «Первая хирургия», самые близкие к месту падения, переведены в другие помещения.

Самое странное, что я почти не ощутила удара. В первое мгновенье мне показалось, что где-то далеко хлопнула тяжелая дверь. Здание вздрогнуло, но совсем не страшно. В других корпусах, говорят, сотрясение было сильное.

Леля с Диной Осиповной и Инной переехали из своей разбомбленной квартиры к нам на Песочную. Теперь буду часто бывать там.

Каждый день хожу читать раненым во «Вторую хирургию». У меня там две палаты. Читаю Горького, Некрасова, Твена. Очень нравятся рассказы Марка Твена и «Кому на Руси жить хорошо».

Иногда многие тяжело раненные спят или думают о чем-то своем. Но все же им приятно, что кто-то приходит и беседует с ними.

С горечью говорят они о немецкой технике, о том, что у нас недостаточно авиации и танков. Один все повторяет жарким, трудным шепотом:

– Таночков бы нам, таночков!

Другой, командир без ноги, раненный под Кингисеппом, сказал:

– Я готов еще принять на себя раны, только бы война хорошо кончилась.

Третий, тоже раненный в ногу, с медалью «За отвагу», трогательно пришпиленной к ночной сорочке, говорит:

– Только бы эту саранчу отогнать! – Это он о фашистских самолетах.

Четвертый оказал о траншеях и блиндажах:

– Не дают земле покоя.

25 сентября 1941 года

Во время тревоги раненые мрачнеют. Их угнетает сознание собственной беспомощности, неподвижности. Ведь большинство не в состоянии сделать ни одного шага.

На днях я сидела в палате, в центре комнаты, на табурете, и читала рассказ Горького. Вдруг завыли сирены, зенитки наполнили все небо. Грохнула бомба, зазвенели стекла.

Я сидела на табуретке без спинки, даже прислониться не к чему. Кругом окна, окна… И раненые, беспомощные люди невольно смотрят на меня, здоровую: как я? А я собрала всю свою волю; переждав гул, читаю, слежу только за тем, чтобы голос не дрогнул.

Но, придя домой, сразу вся ослабела от пережитого страха, даже прилегла на полчасика.

Про бомбу бойцы знают, но говорят о ней вскользь. Известно ли им, что она до сих пор лежит не взорвавшаяся?

27 сентября 1941 года

Бомба все лежит. Подрывники выбиваются из сил, а она, как страшный клад, не дается в руки, уходит все дальше в землю. Что наработают за день, ночью идет прахом.

Земля у нас в саду вся изрыта: «Не дают покоя земле».

28 сентября 1941 года

Сегодня состоялся общегородской митинг женщин Ленинграда. Мы с редактором «Смены» писали всю ночь обращение. Во время очередной ночной тревоги соседи из верхних этажей спустились в квартиру редактора и скорбно сидели с детьми в передней под вешалкой: в бомбоубежище почему-то не пошли.

В чужом доме налет гораздо страшнее, чем у себя дома.

29 сентября 1941 года

Бомба все лежит. Мы уже почти забыли о ней, но она еще опасна.

4 октября 1941 года

Пришлось устроить настоящую штольню, вбить в землю деревянные шпунты и тем задержать бомбу на определенной глубине.

Сегодня, наконец, нас позвали взглянуть на нее. Мы с И. Д. пошли в отгороженную часть сада, куда все это время никого не пускали.

Тяжелая фугаска лежала вся на виду: огромная, окрашенная в голубоватый цвет, с желтыми подпалинами, с заостренным рылом и тупым задом.

Взрыватель был отвинчен, и из глубины бомбы длинной лопаточкой, смоченной водой, выгребали зеленоватую глину, такую незлобивую на вид. Это был тротил – взрывчатое вещество.

Теперь бомба увезена в военный музей. Кусок стабилизатора я оставила себе на память.

5 октября 1941 года

Бомба не выходит у меня из головы. Начала писать о ней размером моего «Путевого дневника».

Получила письмо из Чистополя от 18 августа. Жанна пишет о мальчике:

«Он сильно похудел, но вырос. Ест уже каши, кисель».

Какое счастье, что они там!

10 октября 1941 года

Мы оставили Орел.

По прежнему грозно очень на Вяземском и Брянском направлениях: немцы снова наступают.

Под Москвой земля ровная: ни гор, ни долин, ни моря. Как на этой ровной земле удержать лавину вражеских танков?

Сердце холодеет при мысли, что они могут хлынуть и начнут подминать под себя московские мостовые.

14 октября 1941 года

Жестокие бои под Одессой. Я так давно оттуда! Мне казалось, что она для меня как все другие города. Я уже почти не ощущала ее родной. А теперь чувствую, что она по прежнему дорога и близка мне.

Написала стихотворение «Обращение к Одессе». Вероятно, завтра будут транслировать его по эфиру, чтобы и в Одессе услышали меня.

15 октября 1941 года

Я не успела выступить. В Одессе немцы.

26 октября 1941 года

Были в Филармонии. Каменский играл фортепианный концерт Чайковского. На бис – «Вальс Пратер». Но зал концертный уже не так наряден, как прежде, не топлен. Приходится сидеть в пальто.

Очень много военных.

5 ноября 1941 года

С трудом читаю эпизоды подмосковных битв. Немцы под самой Москвой. Сегодня в «Ленинградской правде» корреспонденция «Сражение на Можайском шоссе».

Сколько раз мы проезжали по этому шоссе на машине. Теперь там немецкие танки. Немецкая пехота там.

Появилось Малоярославецкое направление. Город Н. – очевидно, Нара: туда шли дачные поезда с остановкой в Переделкине.

Не будут немцы в Москве. Не может этого быть.

Москва!.. Она не русской быть не может, как человек не может не дышать.

6 ноября 1941 года

Вчера я в первый раз в жизни поняла, что означает выражение «подкосились ноги».

Я была одна на большой гулкой лестнице, на площадке с громадным лестничным окном, когда ударила бомба совсем близко. Я различила основной громовой удар, а потом дополнительные раскаты. Колебание, бурление почвы. Земля бурлила, как вода. И наш дом зашатался.

Не помня себя, я прибежала в бомбоубежище, где были уже все наши. Ноги у меня были, как из ваты. Потом это прошло.

За все время войны это был самый близкий от меня удар. Во многих наших корпусах выбиты стекла. В нашем здании тоже, но не у нас в комнате. Она действительно хорошо расположена.

Бомбоубежище, где помещается КП института и больницы, – это маленькая комната, вернее часть большого бомбоубежища, отделенная от него перегородкой. В центре –

стол, за которым читают, шьют, разглядывают на карте линии фронтов. В углу печурка. У стен два дивана.

Тут же телефон, по которому И. Д. и Борис Яковлевич сносятся с отделениями.

Бомбовые разрывы доносятся сюда глухо. Если слышен только один тупой удар, значит бомба взорвалась не сразу. Сидишь и считаешь секунды.

Моя приятельница Мариэтта, Мария Игнатьевна, во время налетов мастерит букетики из шелковых узелков. Когда ударяет бомба и мы ждем разрыва, – узелок повисает в воздухе. Взорвется бомба – работа снова идет гладко.

Мариэтта – фармаколог. Ее кафедра, на одном с нами этаже, еще хранит запах кроликов и морских свинок. Еще стоят в коридоре их клетки, но ни свинок, ни кроликов уже нет.

Снаружи, перед дверью бомбоубежища, прижавшись к стене и дрожа крупной дрожью, лежит обычно собака наших зенитчиков, овчарка Динка. Она все понимает и прибегает сюда при первых же звуках сирены.

Командный пункт зенитчиков тут же, за перегородкой. Командир батареи, связанный телефоном с наблюдательной вышкой на крыше нашего анатомического театра и со всеми другими вышками района, получает отовсюду сведения о приближении немецких самолетов и об их направлениях. Он отдает распоряжения, как вести огонь. И мы разговариваем шепотом, чтобы не мешать командиру.

И все же, несмотря на ежедневную, ежечасную опасность, несмотря на то, что не знаю, увижу ли Жанну и мальчика, несмотря на болезни, я давно не ощущала такого душевного здоровья, такого желания работать. Я могу сейчас сделать многое. И я это сделаю, если только бомба не ударит чуть ближе, чем вчера.

Если останусь жива, я сделаю все, чтобы хранить драгоценную «рабочую зону», не теснить ее мелочами, вздором.

Только бы сохранить ясную голову, чтобы можно было писать до самого конца. Вот все, чего я себе желаю.

7 ноября 1941 года

Вчера вечером слушали речь Сталина из Москвы. Холодную, как лед, комнату решили хоть немного согреть к этому часу. Но это оказалось невозможно. Мы сидели в пальто. И все же горсточка углей в печи сияла, переливалась жаром и блеском. Нельзя было оторваться от этого огня.

А ночь снаружи была беспросветная, черная, с завыванием сирен, с залпами зениток, с гудением самолетов над самой головой.

Но, дважды объявляя по радио тревогу, сейчас же снова передавали речь Сталина. Она шла поверх тревоги, поверх тьмы, поверх этой ночи. Она была сильнее всего.

Мы слушали ее, глядя на огонь. И все это слилось для нас в единое сияющее и великое утешение.

10 ноября 1941 года

Вчера слушали в Филармонии Девятую симфонию Бетховена. Но, видимо, нам в концерты больше не ходить. Это становится слишком сложно и опасно.

На обратном пути ночь была до того черна, тьма была такая, как в закрытом помещении без огня.

Фонарика у нас не было. Чудом добрались до трамвайной остановки. И там на нас чуть не наехали грузовики. Я вдруг почувствовала холодный и мокрый борт грузовика у самой щеки.

Сама Филармония все мрачней. Полярный холод.

Вторично снижена хлебная норма.

15 ноября 1941 года

Возле прозекторской упала вчера большая фугаска. Вторая упала в Ботанический сад. В оранжерее вылетели сразу все стекла, и туда хлынул холод. Пальмы погибли уже к утру.

Когда эта бомба упала, дверь в нашем укрытии так неистово затряслась, как будто ее изо всех сил дергал обезумевший от страха человек. Я кинулась открывать ее: не могла поверить, что это взрывная волна. Распахнула двери – никого. Только овчарка Динка дрожит на полу. На скамьях женщины, сидя неподвижно, прижимают к себе детей.

16 ноября 1941 года

Тревога. Много осветительных ракет. Ночью вся наша территория залита светом.

21 ноября 1941 года

Вчера, возвращаясь из города, попали в две большие тревоги. Сидели в двух бомбоубежищах и стояли в двух парадных. В промежутках делали «перебежку».

Как только чуть стихнет, мы – в путь. Начинается полыхание и полеты над самой головой – мы пережидаем. Очень грозно выглядят в темноте колючие красные звезды зенитных разрывов. Их осколки опасны.

Первая тревога застала нас у здания биржи. Белесоватая лунно-снежная мгла, все призрачное, косое от снега. Ростральные колонны еле видны. Среди всего этого стон сирены. И гул бомбы где-то поблизости.

Мы спустились в подвал под биржей, под могучие старинные своды.

Под биржей с нами сидели кондукторша и вожатая. И мы радовались: значит, трамвай не уйдет без нас.

Второе убежище по Большому проспекту в большом доме было совсем иного типа. Туда в полном составе спустилась очередь за соевым молоком, стоявшая у магазина этого же дома. И должно же было так случиться, что там сошлись бывшая работница и бывший кондитер конфетной фабрики еще дореволюционного времени.

Начались воспоминания. Бывший шеф рассказал о «шоколадном евангелии», которое фабрика сделала для парижской выставки и за которое фабрикант получил 25 000 рублей премии, а рабочим уделил гроши. Но самое интересное было то, что (по словам шефа) парижская комиссия признала евангелие изготовленным на чистом сливочном масле, а оно, «между прочим, было на маргарине».

Вот уж поистине «сладкие» воспоминания. Все убежище слушало, как зачарованное, мало обращая внимания на грозные звуки извне.

По площади Льва Толстого мы уже не шли, а бежали под сплошным заградительным огнем. И вдруг возле булочной на углу, на льду тротуара – дрожащая мольба:

– Голубчики, родные, помогите!

Старуха. Упала во тьме. В небе над ней ревут самолеты, бушует огонь, а на земле – ни души, только мы. Подняли ее и устремились было дальше. А она:

– Родные, бесценные! Я карточки свои хлебные потеряла. Как же я без них? Дорогие, помогите! – и шарит в темноте свои иждивенческие стограммовые карточки.

На меня от страха и утомления нашло полное отупение. Говорю:

– Ищите сами. Мы не можем.

И. Д. ничего не сказал, выпустил мою руку, нагнулся, поискал, нашел старухины карточки. Потом мы ее вывели на Петропавловскую улицу. И побежали дальше.

25 ноября 1941 года

Вчера, во время двойного обстрела с воздуха и земли, Борис Яковлевич, главврач больницы, защитил диссертацию в бомбоубежище.

Диссертант в своем неизменном ватнике явился туда прямо из котельной, где вот уже который день, совместно с истопником, пытается наладить работу прачечной, поврежденной снарядом.

В бомбоубежище электричество не горело. Ученый совет заседал при керосиновой лампе.

За обедом выпили разведенного спирта в честь нового кандидата медицинских наук.

Старушка молится о прорыве блокады: «Господи, пробей путь нашим бойцам!»

28 ноября 1941 года

Переселение ленинградцев по воздуху продолжается.

Из наших писателей улетели многие. Из институтских – профессора З. и К. Тут все не просто: и страх перед будущим, и любовь к городу (как его оставить в такую ми нуту!), и сознание: раз тебя вывозят – значит, ты нужен стране. И как же не улететь, если предлагают?

Будущее Ленинграда тревожит. Сгоревшие Бадаевские склады – не шутка. Жирный и тяжелый дым – это были углеводы и жиры, необходимые для жизни. Белков, то есть мяса, мы тоже почти не видим. Недавно профессор З. сказал мне:

– Моя дочь провела вчера весь день на чердаке, разыскивала кота.

Я готова была умилиться такой любви к кошкам, но З. добавил:

– Мы их едим.

В другой раз тот же З., страстный охотник, сказал:

– Моя жизнь кончится, когда я убью своего последнего тетерева. И мне кажется, что я его убил.

В ноябре уже были два снижения хлебной нормы – две неуклонные ступени вниз.

30 ноября 1941 года

Пятая симфония Бетховена в Филармонии отменена из-за сильного артобстрела.

1 декабря 1941 года

Сегодня на Вульфовой улице видела труп на саночках, без гроба, спеленутый белыми пеленами: явственно выделяются колени. Грудь туго обвита. Библейский, египетский способ.

Видны очертания человека, но кто именно – мужчина, женщина – уже не различишь. Это уже «тело», принадлежащее земле.

6 декабря 1941 года

Жанна пишет:

«Такой хорошенький стал мальчик, просто прелесть. Как только переедем и немного придем в себя, постараюсь снять его и прислать тебе фото».

7 декабря 1941 года

Пятая симфония Бетховена и увертюра Чайковского «1812 год».

Филармония все мрачней. Адский холод. Люстры горят в четверть силы. Оркестранты – кто в ватниках, кто в полушубках. Скрипачам нужны легкие, свободные руки, – поэтому тут ватники. Виолончели и тем более контрабасы могут быть в полушубках: у них движения рук направлены книзу. Барабану теплее всех: он согревает себя ударами. Первая скрипка была густо небрита: наверное, не на чем было согреть воду или света не было.

Вчера по радио важное сообщение: Англия объявила войну Венгрии, Румынии и Финляндии.

8 декабря 1941 года,

Япония напала на Америку без объявления войны.

9 декабря 1941 года

Мы дышим. Мы немного глубже дышим. Нами взят Тихвин. Может быть, отсюда начнется спасение Ленинграда.

13 декабря 1941 года

Под Москвой хорошо. Москва отбила от себя врага, но в Ленинграде все еще грозно.

Сегодня снаряды ложились по Кировскому.

Обстрел настиг нас при приближении к дому. Снаряд разорвался у нашей проходной будки, у ворот, как раз в ту минуту, когда мы, подъехав к главному подъезду, выходили из машины.

Вся улица заволоклась пороховым, кислым каким-то дымом. У нас повреждена водопроводная магистраль и главный ввод в канализацию. Теперь мы без воды.

У проходной – большая обледенелая воронка. Мостовая покрыта льдом, ледяные языки тянутся далеко.

14 декабря 1941 года

Успех под Волховом.

21 декабря 1941 года

Вчера решили навестить Евгению Осиповну Р. – жива ли, жив ли муж? Это мои большие друзья.

Она заведует кафедрой педагогики в Герценовском институте. Теперь работает в тамошнем госпитале сестрой. Работает тяжко. А сама желтая, глаза погасли, седина волос сливается с мехом старенькой шапочки.

Трамваи теперь ходят неточно, с перебоями. Многие линии повреждены. Но мы решили хоть часть пути проехать. По Большому дошли до Введенской и сели на трамвай номер двенадцать. Хоть это был и не наш номер, но он мог перебросить нас через мост, а ведь это главное.

Едва мы тронулись, начался обстрел. Снаряды падали справа и слева. Наш двенадцатый номер шел по гремящей улице, словно по дну ущелья. В трамвае никто не говорил ни слова.

Мы втягивались в самую зону огня. Жутче всего было то, что навстречу нам по тротуару бегом бежали люди именно оттуда, куда мы приближались с каждой минутой. Внезапно вожатая сказала: – Дальше не еду. Боюсь.

– Не останавливайтесь! – закричали ей. – Езжайте вперед. И мы проскочим.

Та было послушалась; одну остановку мы промчались вихрем. Но на второй (это было как раз у Ситного рынка) снаряд упал так близко, что вожатая бросила управление. Вагон стал.

Уж не помню, как мы выскочили из него, перебежали улицу и влетели в булочную на углу. И в то мгновенье, когда мы переступали порог, снаряд попал в наш трамвай.

Мы просидели в убежище булочной, вероятно, с час, я не помню. Как это часто бывает со мной в минуты опасности или после нее, мне страшно хотелось спать.

Укрытие было сырое, сверху капала вода. Люди все время перемещались, ища местечка посуше. Плакал ребенок. Меня тяжело клонило ко сну: год жизни отдала бы за подушку.

Когда все стихло, мы вышли. Наш трамвай стоял страшный, разбитый. Какой-то человек, махнув в его сторону рукой, сказал:

– Там полно трупов.

Значит, были убиты все, кто не вышел.

Вернувшись домой, узнали, что обстрел был прицельный по Ситному рынку, в гущу рыночной толпы. День был воскресный. К нам в больницу привезли 72 раненых.

22 декабря 1941 года

К сегодняшнему утру из вчерашних раненых умерло десять.

25 декабря 1941 года

Сегодня утром, когда Евфросинья Ивановна внесла дрова, я по ее лицу сразу поняла, что случилось нечто необычайное. Она рассказала мне, что, пойдя еще затемно, на «ранней зорьке», в булочную, встретила на площади Льва Толстого неизвестного человека, который шел, плакал, смеялся, хватался за голову.

– Постоит-постоит и дальше бредет, сам не в себе.

Я подумала: либо выпивши (и где только раздобыл?), либо повредился в уме.

И только придя в булочную, Евфросинья Ивановна поняла, в чем дело: прибавили хлеба. И этот человек один из первых узнал о прибавке. Радио не работает из-за отсутствия тока, газета появляется на стенах домов только на второй, а то и на третий день. Поэтому о прибавке хлеба люди узнавали прямо у прилавка. Так было с неизвестным человеком. Так было и с Евфросиньей Ивановной.

Все сияют. Отовсюду доносится одно только слово:

– Прибавили!

Рабочие получают теперь 250–300 граммов. Служащие – 250. Мы с И. Д. будем иметь на двоих 600 граммов в день.

26 декабря 1941 года

Страшно, выйдя утром из наших задних ворот, очутиться у стены прозекторской, на берегу Карповки. Это – мертвецкая под открытым небом.

Ежедневно туда привозят на салазках восемь-десять трупов. Там они и лежат на снегу. Гробов становится все меньше: не из чего их делать.

Мертвецы – в простынях, скатертях, лоскутных или байковых одеялах, иногда в портьерах. Однажды я видела небольшой, видимо очень легкий, трупик ребенка в оберточной бумаге, перевязанный бечевкой.

Все это зловеще пестреет на снегу. Порой из-под него торчит рука или нога. В этих цветных тряпках таится еще какое-то подобие жизни, но и неподвижность смерти. Все это напоминает одновременно и побоище и ночлежку.

Сама прозекторская полна. Не хватает грузовиков для кладбищ – и не столько даже грузовиков, сколько бензина. И главное – так мало сил у живых, чтобы хоронить мертвых.

Возник вопрос о том, чтобы не регистрировать в загсе каждого умершего отдельно, как раньше. И вообще – упростить формальности. Представитель загса будет находиться тут же, в прозекторской, чтобы вести хотя бы просто количественный учет. Ведь много трупов безыменных.

30 декабря 1941 года

Недавно в одном месте меняли 27 порошков аскорбиновой кислоты (витамин «Це») на живую собаку для еды. Мариэтта сказала рассудительно:

– Что ж, если собака крупная – это выгодно.

1942 год

1 января 1942 года

Новый год встречали вчера дважды. Первый раз – в пять часов вечера, в Союзе писателей, где был сначала «устный альманах», а потом ужин за счет талонов, вырезанных из наших продовольственных карточек.

Мы пошли в Союз по ледяным пустынным улицам, мимо трамвайного парка, откуда не выходит ни один трамвай, мимо хлебозавода, который дает нам так мало хлеба, мимо пробитого осколками и засугробленного автобуса. По набережной, где стоят два недостроенных корабля, трагических, безмолвных. Перед ними ледяная громада города и за ними покрытая льдом Нева.

В Союзе писателей «устный альманах» происходил в красной гостиной. В камине горели полешки, на столе – свеча, было очень холодно.

Дошла до меня очередь. Я села поближе к свече и стала по рукописи читать первую главу поэмы (название у меня точно еще не решено). Я читала ее на людях впервые. В том месте, где я проклинаю гитлеровскую Германию, у меня перехватило дыхание. Трижды я останавливалась и начинала снова.

После «ужина» пошли домой, снова тем же путем. Было почти совсем темно.

Вечером И. Д. отправился в булочную. Тревога застигла его на обратном пути. Бомбы падали снова возле площади. И. Д. укрылся с хлебом в чужой подворотне. А я дома очень боялась за него.

К двенадцати часам сошли вниз, в кабинет главврача, с последней нашей бутылкой прокисшего рислинга. Розлили по бокалам и выпили молча. Хотели было еще посидеть, но позвонили по внутреннему телефону. Дежурный врач приемного покоя сообщал, что у него сорок покойников лежат в коридорах и в ванной. Не знает, что дальше делать. Главврач ушел туда. Мы поднялись к себе и легли.

2 января 1942 года

Умирают в больнице, главным образом в приемном покое. На кладбищах вырыты длинные траншеи, куда складывают покойников. Отдельные могилы кладбищенские сторожа роют только за хлеб.

Гробов на улицах все больше. Их везут на салазках.

Если гроб пуст, он легко раскатывается из стороны в сторону: его заносит. Однажды один такой задел меня по ногам. Гроб с покойником везут обычно две женщины. Веревки глубоко врезаются им в плечи, но не потому, что покойник тяжел, а потому, что женщины слабы.

Недавно видела труп без гроба, у которого на груди под свивальными пеленами были подложены стружки, видимо для благообразия. Во всем этом чувствовалась опытная, не дилетантская рука. Страшнее всего была именно эта техническая оснащенность. Очень может быть, что за все это пришлось расплатиться хлебом.

В другой раз две пары салазок сцепились полозьями. На одних к крышке гроба были аккуратно привязаны лопата и лом. На других – лежали дрова. Это встретились Смерть и Жизнь.

Часто на салазках везут и живых. У Аничкова моста (откуда, спасая от снарядов и бомб, давно уже вывезли бронзовых коней Клодта) две женщины с трудом влекли салазки, на которых сидела третья с мертвым ребенком в одеяльце.

Видела я также, как истощенная женщина, молодая, с напряжением управлялась с салазками, на которых лежал большой платяной шкаф стиля «модерн» из комиссионного магазина: для гроба.

В одно из воскресений мы шли от наших ворот к площади Льва Толстого. И на этом небольшом пространстве встретили восемь больших и малых гробов и несколько трупов в одеялах. И тут же две женщины вели третью к нам в больницу рожать. Она шла, выпятив живот, желтая, с цынготными кровавыми мешками под глазами, худая, как скелет, еле передвигая ноги.

В другой раз две женщины, по виду учительницы, библиотекарши или что-нибудь в этом роде, везли на салазках пожилого человека в пальто, в меховой шапке и в очках. Он неудобно лежал на боку на коротких салазках, опираясь на локоть. Ноги волочились по земле. На каждой выбоине человек стонал:

– Осторожнее! Осторожнее же!

А те две были в поту, несмотря на сорокаградусный мороз.

Две женщины (снова женщины) ведут под руки дистрофика (мы только здесь узнали это слово). Он переставляет ноги в валенках, как протезы. Глаза устремлены вперед, точно у одержимого. Кожа лица туго натянута. Губы полуоткрыты, и видны зубы, ставшие как бы длиннее от голода. Нос заострился, точно истаял, весь в язвочках, кончик несколько загнут набок. Теперь я знаю, что значит «обглодан голодом».

Лица на улицах или неестественно обтянуты и глянцевиты (это отеки), или зеленоваты и бугристы. Под кожей ни капли жира. И мороз гложет эти сухие остовы. (Я пишу это и слышу, как у моих ног, в корзине для бумаги, куда мы раньше сбрасывали хлебные крошки, роется обезумевшая от голода мышь, – мы зовем ее «княжна Мышкина». Она даже не в силах радоваться тому, что съедены все кошки…)

Не могу выносить на улицах резкой струи соснового экстракта. Это значит – или провезли на грузовике трупы, залитые этой жидкостью, или прошел пустой грузовик (чаще всего газогенератор), недавно перевозивший трупы. Так и стоит в морозном воздухе этот убийственный запах.

Вечер

Заведующая кафедрой иностранных языков в Мединституте И. совершенно одна на свете.

У нашей И. единственное близкое существо – собака, эрдель-терьер, по имени Карма. Я всегда их видела вместе: они не расставались.

Во время одного из налетов бомба попала в квартиру И. на улице Маяковского. Все лицо И. было засыпано осколками. Карма где-то пряталась несколько часов, потом явилась.

До 1 декабря всем служебным собакам выдавали паек. После 1-го паек прекратился, и начали есть самих собак.

Не так давно в ледяном коридоре, внизу, я встретила И. с Кармой. И. говорит мне: «Вот. Иду на кафедру токсикологии, где собаку усыпят. Я буду при этом, дам ей вкусно поесть в последний раз, у меня еще есть для нее сырные корки. А что будет с ней потом, я не хочу знать, хотя знаю наверно: ее съедят. Ее давно уже ждут сотрудники». И она ушла с собакой на кафедру токсикологии.

Сегодня снова видела И. на лестнице, без собаки. Она мне рассказала, что укол Карме был сделан неудачно. Ослабевший токсиколог не мог попасть сразу в сердце. И собака кричала перед смертью, как человек.

Сегодня же утром, когда мы шли завтракать вниз в нашу обледенелую столовую, навстречу нам несли человека. Это был знакомый Бориса Яковлевича, – чуть ли не врач сам. Он пришел просить, чтобы его голодавшую жену положили в больницу. И, прося за нее, потерял сознание от голода. Его-то и пронесли мимо нас в приемный покой.

А вчера вечером в углу за дверью, под шкафчиком с ключами, на стуле, где сидит дежурная, мы увидели незнакомого человека. Он сидел, свесив голову, опустив безжизненные руки. Все мышцы ослабели. Одна калоша валялась вблизи стула.

Б. Я. тронул его за висок, там, где бьется жилка, и сказал: «Слабые признаки жизни еще есть». После многочисленных звонков пришли изнемогающие санитары и унесли человека в приемный покой. Жив ли, никто не знает.

Это был рабочий ближней фабрики. Ему был дан бюллетень, он шел в больницу. Вошел в главное здание через парадную дверь, которая теперь так слабо охраняется, добрался до этого стула и стал тихо умирать, как умирают сейчас тысячи дистрофиков. Погрузился в ледяную бездну.

3 января 1942 года.

Вечер

Человек, виденный нами вчера в коридоре на носилках, не врач, а физик. Он умер в приемном покое через полчаса. Человек, сидевший в углу под ключами, тоже умер.

Под Москвой наши дела на фронте превосходны. Ленинград живет последними остатками сил. Это предельное напряжение сил чувствуется во всем: трамваев нет, истощенные люди делают в день по многу километров, иногда больше десяти. Они тратят на это последние калории.

В очень многих районах (в нашем тоже) совсем нет радио: экономят энергию. Вода только в нижних этажах, а то и вовсе нет. Что это будет весной, когда стает снег?

Сегодня в город должны были привезти цистерны с бензином, но не привезли. Не было угля для паровоза. Говорят (и это правда), что повсюду – в Тихвине, в Волхове, в Мурманске, особенно в Мурманске, – стоят эшелоны с продуктами. Ящики стоят там с надписью: «Только для Ленинграда!» Об этом говорят с восторгом, с жадностью, с нежностью. Иные не говорят – у них нет сил.

Передают, что там есть все, вплоть до бананов. О бананах я впервые услышала в нашей столовой, где стены стали совершенно мохнатыми от инея и где температура много ниже нуля. Бананы?!

Милиционеров приносят в приемный покой прямо с поста. Они умирают, не успев даже согреться. Однажды связистка-студентка подняла на улице милиционера, упавшего от голода. Кроме того, у него были украдены хлебные карточки. Эта девочка, волоча милиционера на себе, втащила его в булочную и купила ему хлеба по завтрашнему талону своей карточки. А сама она как завтра?

Светомаскировка стала небрежной. То ли потому, что давно не было налетов, то ли сил нет. Шторы опущены коекак. Да и то сказать – ведь почти нигде нет электричества. Мороз покрывает окна ледяными щитами. Да луна, исступленно-зеленая, свирепая, своим светом затмевает наши земные коптилки.

Радость была в тот день, когда прибавили по 75 граммов хлеба, но это было давно. Теперь об этом забыли. Тот человек, который на улице плакал и смеялся от счастья, идя навстречу нашей Евфросинье Ивановне, вероятно, давно уже умер. Сама Евфросинья едва жива. Муж у нее умирает. Он бывший повар. В полузабытьи его преследуют виденья некогда изготовленных им блюд: пом-суфле, беф-строганов, соусы. Их аромат, вид, шипенье масла на сковородке. Он говорит об этом вслух, терзая себя и окружающих. Евфросинья плачет, говорит:

– Замучил.

Что будет, если в самом скором времени не подвезут продовольствия? А зима еще долгая. Страшная.

Наши теперешние ночи неописуемо тихи. Ни гудка, ни шума трамваев, ни лая собак, ни мяуканья кошек. Нет радио. В темных ледяных квартирах город засыпает. Многие навеки.

Очень давно не имела писем от наших из Чистополя.

Да и как пробьются сюда эти письма?

4 января 1942 года

Вчера ночью вспыхнул пожар в студенческом общежитии: злополучное место, куда уже дважды попали бомбы.

Сначала предполагали, что пожар возник от неправильно поставленной времянки. Но потом выяснилось, что от спички, брошенной в угол, в кучу мусора. Нечаянно или умышленно… кто знает? Может быть, и второе, так как в суматохе пожара начали пропадать вещи.

Один из пожарных работал особенно хорошо, в дыму, без маски: не было кислорода. Решили премировать его. А он, узнав, что гасил здание, имеющее отношение к медицине, сказал:

– Не надо мне другой премии, как только хотя бы сто граммов рыбьего жира для моей жены.

И он получил этот драгоценный жир, лучший из витаминов.

Наша мышь («княжна Мышкина») затихла, видимо навсегда. Жаль. Хоть какое-то движение было, шевелился этот комочек жизни. Теперь и его нет.

Мне кажется, что, если в течение десяти дней не будет прорвана блокада, город не выдержит. Ленинград получил от войны все сполна. Надо, чтобы и немцы на Ленинградском фронте получили той же мерой.

СССР называют спасителем человечества: это так и есть.

Я горда тем, что у меня «советская паспортина». Теперь она оливковая, скромная. Но все равно она излучает сияние.

Если бы кто-нибудь знал, как страдает Ленинград.

А зима еще долгая. Морозы лютые. Сегодня теплее, но зато сильно метет. За городом, наверное, пурга. И нельзя слушать без волнения, как этот голодный, темный, замерзающий город радуется морозам, от которых гибнут гитлеровцы на нашем фронте.

– Так им и надо! – повторяют люди посиневшими губами, стоя в подворотне во время обстрелов.

Блокаду Ленинграда обычно именуют «огненным кольцом». Нет, скорее это кольцо ледяное.

Начала вторую главу поэмы. Попытаюсь описать в ней одну ленинградскую ночь.

5 января 1942 года

Артобстрел нашего района и даже нашей территории. Снаряды рвались так близко, что было предложено всем нам выйти из фасадных комнат главного здания.

На днях мне снился сон, будто я и еще люди, невидимые в темноте, стоим в подворотне, пережидая обстрел. Проносятся полые светящиеся шары. «Остерегайтесь брызг. Это ипритные волчки!» – кричит кто-то. Я проснулась со стеснением в сердце.

Говорят, будто мы взяли Мгу. Но кто это слышал? Ведь радио почти ни у кого не работает.

6 января 1942 года

Сегодня впервые была в приемном покое.

Я прошла две ванные комнаты, где стоят ванны с чистой водой. Но там никто не купался.

В первой комнате, на полу, на больничных носилках, лежал совершенно обнаженный мужской труп. Скелет и тот полнее. Здесь лежало нечто такое, что как бы никогда и не было телом с кровью и мышцами. В глубокой сухой впадине под ложечкой, как в чашке, лежала записка: имя и фамилия умершего. Я не прочла ее.

Глаза покойника были открыты, лицо покрыто той особой «трупной» бородкой, которую не берет никакая бритва.

Жутко торчал нос.

В следующей комнате стояло в ряд несколько носилок: это были трупы, мужские и женские. Совершенно одинаковая нечеловеческая худоба лишила их возраста и даже пола.

Меня поразило, что у первого трупа на ноге, ниже колена, была кровь, немного крови. Упал, очевидно. Или его ушибли. Я подумала:

«Как? Значит, в этом теле все же была кровь? Была жизнь?»

Во всех остальных комнатах и коридорах, на скамьях, носилках, а то и просто на полу сидят и лежат по существу такие же трупы, только они одеты. На лицах живут только глаза. И так сидят они по многу часов. Среди них ходят две женщины-врача, сами похожие на мертвецов.

Здесь никого не лечат, только кормят. Болезнь у всех одна – голод. На одной из скамеек лежит рабочий. Живой. Он еле шевелит языком и повторяет одну фразу:

– Семнадцать лет… семнадцать лет на производстве…

На другой скамье – старуха. А может быть, и не старуха – полутруп. Живы одни глаза. Губы лиловые. Лежит на боку. Рядом не то костыль, не то палка. И пустая кошелка: вероятно, прямо из очереди.

И среди этого ужаса попадаются и притворщики, симулянты, тоже голодающие, но не смертельно. Эти из-за тарелки супа приходят сюда через весь город. И оспаривают кусок или глоток пищи у тех… в ванной комнате.

Хватит ли сил дождаться снятия блокады? И сколько останется в живых, чтобы радоваться тому, что они живы?

7 января 1942 года

Вчера перестали работать городские телефоны во всем нашем корпусе, – не знаю, как в других зданиях. Очевидно, всюду. Сначала были квартиры, а теперь очередь дошла до учреждений. Но город держится: надо держаться.

Слушала лекцию профессора Тушинского о «голодной болезни» – таково ее действительное название.

Тело состоит из жира и мышц. Жир, жировая подкладка – это наша шуба. Мышцы – фабрика тепла. Когда исчезла «шуба» и не работает «фабрика», наступает смерть. Тогда мы съедаем собственные мышцы, наш «аварийный запас». Падение веса идет толчками. Температура равномерно понижена в течение целого дня.

Печень – это продуктовый склад. Нормальная печень весит 1 500 граммов. У голодающего – 700.

Внешне голодная болезнь выражается то отеками, то высыханием. У отечных происходит разжижение крови. Отекает сама кровь.

Кожа сухая, лишенная пота и сальной смазки. Апатия. Специфическое выражение лица.

Чудодейственно восстанавливает силы глюкоза, введенная в вену или просто проглоченная. Недаром актеры балета после большого сольного номера съедают 50 граммов глюкозы.

У голодающих наблюдается острая потребность в углеводах, то есть в хлебе. Ведь сказал же академик Павлов: «Наш организм очень умен. Он хочет то, что ему полезно».

Среди прочих интересующих меня вещей узнала и о том, почему у нас нет эпидемии сыпняка. Оказывается… из-за блокады. К нам не попадает новый вирус, а у нас он уже «дохлый», ослабевший. Таким образом, та же блокада, которая убивает город, спасает его от инфекции.

И все же говорят, что части генерала Мерецкова 10 января будут в Ленинграде. Ну, пусть не 10-го, а 15-го, 20-го, в конце января, но только пусть будут. Ничего более потрясающего, чем эта встреча города и армии, вероятно, не было и не будет в истории.

И главное – ни радио, ни газет. А теперь и ни телефона. Никто ничего не знает. И от наших ни звука, ни слова. Очевидно, опять разбомбили телеграфную про водку. Живы ли? Здоровы ли? Получили ли от меня деньги?

27 января Мишеньке год. Пусть к этому дню (а может, раньше?!) будет снята блокада.

Без четверти семь. Вечер

Обстрел. Сначала мне показалось, что дрова падают. И часто-часто, полено за поленом. А потом я подумала: «Откуда же столько дров?» И сразу стало ясно – обстрел.

5 января 1942 года.

Около 11 часов утра

Вчера трудный день. В первой половине дня погас свет. Тока не было до сегодняшнего утра. Поели только утром (суррогат кофе и суррогат молока, но как вкусно!). Каши съела немного пшенной, зато… (Снаряд где-то близко.) И… иду вниз. Обстрел сильный.

Половина двенадцатого. Вернулась. Обстрел кончился. Он был недолгий, но шквальный, как тогда, в трамвае, у Ситного рынка.

Мой очерк ушел в Куйбышев, в Совинформбюро, оттуда в Америку. Сегодня истекал последний срок аванса, который прислал мне Афиногенов. Теперь, если получу подтверждение, что очерк дошел и подходит, буду писать регулярно три раза в месяц.

К отправке очерка начала готовиться за несколько дней. Прежде всего переписала его так, как это нужно для телеграфа: «Посылаю первый очерк под названием кавычки так мы живем кавычки точка абзац существуют два ленинградских фронта двоеточие боевой и бытовой точка первый тире на подступах к городу запятая где сражается наша Красная Армия точка второй тире сам город точка». И так далее.

Вчера снова заштопала И. Д. шерстяные носки и рукавицы. Выстирала кашне, чтобы оно, распушившись, стало теплее: морозы лютые. Оставила вчера хлеб И. Д. на дорогу: ведь ему предстояло идти пешком через весь город на главный почтамт, где только и берут телеграфные корреспонденции – и то, когда горит электричество. На всякий случай дала свечу для телеграфистки.

И. Д. встал с рассветом и пошел, и вот только сейчас вернулся. Самое горькое то, что нет тока и по вечерам нельзя работать. А вечер сейчас – это начало пятого, да и днем темновато, хотя дни, как правило, морозные и ясные. Вот и сейчас тоже.

Вчера вечером, в предвидении сегодняшнего «телеграфного похода», при свете «летучей мыши» (последний керосин) мы, по моей инициативе, устроили роскошный ужин: половина маленькой сырой луковицы (вторая половина будет съедена сегодня), мелко нарезанная, густо посоленная и политая подсолнечным маслом. Все это с хлебом: каждый получил по три тартинки. Крошки мы высыпали в тарелку. Они пропитались остатками масла, и мы поделили их поровну. Кроме того, мы выпили остатки вина: портвейн «Арарат», высший сорт. После этого мы легли спать необыкновенно счастливые. В темноте тотчас же явилась наша «княжна Мышкина» (оказывается, она еще жива), сновала по столу, клевала крошки, как птица. Потом с писком провалилась в пустой (конечно, пустой) молочник. Мы зажгли спичку. И «княжна», сделав последнее усилие, выкарабкалась из молочника (чего ей это стоило!) и скрылась.

Света у нас не будет. Будут давать ток на три-четыре часа в сутки, но в самое неопределенное время: быть может, ночью.

9 января 1942 года.

Около 2 часов дня

Сильный артобстрел. И. Д. рядом, за стеной, принимает зачеты у студентов, и я спокойна…

Жанна, девочка моя. Стараюсь не думать о ней, но не могу. Ее письма для меня страшнее самого страшного обстрела. Как она мечется, бедная! Отдала ребенка в ясли, думала, будет лучше. Теперь хочет взять его оттуда, так как он схватил там ветрянку. Правда, легкую, по ее словам. Но много ли такому крошке нужно?

Жанна пишет: «У него личико очень хорошенькое: видно, что он уже большой, что ему скоро год, а тельце худенькое и ротик беззубый – просто сердце разрывается. Ему годятся все его новорожденные кофточки и распашонки. Они стали только очень короткие, а в ширину как раз…»

А я читаю и думаю: «Как он лежал в картузике… Зачем я позволила увезти его? Но что я могла сделать?»

И. Д. утешает меня. И мне самой кажется, что вот только пройдет зима, а там легче будет.

Все замечают, что И. Д. очень похудел. Я стараюсь отдавать ему свою долю, – мне ведь меньше нужно. Но, конечно, этого ему недостаточно.

Появилась нота Молотова к нашим союзникам о фашистских зверствах в оккупированных районах. Я не читала еще, радио тоже молчит. Сейчас оно издало какой-то звук. Оказалось – это проба местного радиоузла. Обстрел прекратился.

13 января 1942 года

Темнеет. У меня нет света. Но я должна немедленно записать то, что слышала собственными ушами: паровозный гудок. Слабый, но ясный и отчетливый. Первый гудок за все время блокады.

Мы все выбежали во двор проверить, правда ли? Тишина. Мороз. Снег лежит. Мы стоим и слушаем. Рядом со мной доктор Пежарская. Она мне напоминает мою покойную мать – и даже не чертами лица, а всем обликом. Мы слушали с ней, потом взглянули друг на друга. Да, дорожные гудки.

Значит, правда, что начала работать ледовая дорога через Ладогу, о которой нам говорили. А потом поезда повезут продукты от Ладоги до города. Это жизнь наша.

Это наше спасение, может быть.

14 января 1942 года.

4 часа дня

Лютый мороз. Сижу в пальто, в перчатках. Читаю Тимирязева. Я знала его по имени, уважала, чтила: мировой ученый, блестящий популяризатор. Но по существу я ничего не знала о нем. Если говорить правду, он был для меня только малоудачным, на мой взгляд, памятником у Никитских ворот: узкая темная фигура, стесанная с боков, в длинной мантии. Руки благонравно сложены, точно у школьника на экзамене.

Этот памятник был сшиблен во время одной из первых московских бомбежек, еще при мне. Но через несколько дней Тимирязев снова, как ни в чем не бывало, стоял на прежнем месте, сложив руки. Его восстановили очень быстро.

Теперь я прочла книгу Тимирязева о хлорофилле, зеленом веществе растений.

«Жизнь растения, – пишет Тимирязев, – постоянное превращение энергии солнечного луча в химическое напряжение; жизнь животного – превращение химического напряжения в теплоту и движение». Дальше он говорит, что на солнце как бы «заводится пружина», которая спускается на земле. И эта развернутая пружина и есть жизнь.

«Зерно хлорофилла является звеном, соединяющим величественный взрыв энергии в нашем центральном светиле со всеми многообразными проявлениями жизни на обитаемой нами планете».

Тимирязев цитирует Больцмана и Ньютона. Ньютон писал: «Природа, по видимому, любит превращенья». И дальше: «В ряду таких разнообразных и странных пре вращений почему бы природе не превращать тела в свет и свет в тела». Ньютон только догадывался о том, что знал Тимирязев.

Больцман писал: «Растения развертывают неизмеримую поверхность своих листьев и вынуждают солнечную энергию, прежде чем она упадет до уровня температуры земли, вызывать (не вполне еще исследованные) химические синтезы, еще неведомые нашим лабораториям».

«Неизмеримая поверхность листьев…» При этих словах мне представляется колышущийся океан зеленой листвы и частицы света, летящие к нам сквозь ледяные пространства вселенной.

15 января 1942 года.
9 часов 15 минут вечера

Вчера ночью горела прозекторская. Туда привезли полуобгоревшие трупы с завода, где был пожар (пожары теперь подлинное бедствие). Трупы были в ватниках, которые еще тлели, но этого никто не заметил.

Огонь, таившийся между слоями ваты, постепенно выходил наружу. Пламя вырвалось из ватников и охватило старые сухие ящики, привезенные для гробов. Все наполнилось дымом.

Прибежал наш начальник пожарной охраны и стал руками растаскивать трупы.

Воды не было. Пришлось засыпать огонь снегом. Но прозекторскую отстояли.

Как только кончился пожар, начался другой, на противоположном берегу Карповки, вдоль ограды Ботанического сада, где стояли военные грузовики.

От неосторожно разведенного костра загорелся грузовик-цистерна с бензином. Один, за ним другой. На третьем загорелся мотор. Его с опасностью для жизни отцепили от цистерны. Со вторым не могли справиться и столкнули его в Карповку, куда он упал, пробив лед. Столб огня при этом взметнулся выше трубы нашей котельной. А в ней сорок метров.

Сила огня – потрясающая. У нас в комнате можно было читать…

Была очень занята все это время, день так короток, света нет. Хозяйства хоть и никакого, но все равно ежедневно надо что-нибудь шить либо штопать. Моя мания порядка обходится мне дорого. С другой стороны, именно сейчас надо особенно следить за чистотой.

Но все же многое успела: вчера написала 7 строф.

7 * 6 = 42. Для меня это много. Поэтому я не сразу написала об А.

А. – наш москвич. В настоящее время пишет (насколько я поняла) «философский трактат» «Дух войны».

В связи с этим решил, что ему надо взглянуть на Ленинград. Кроме того, у него тут родные жены, которые, ясное дело, голодают.

Не знаю, что из этих двух причин было важнее, но, как бы то ни было, А. добился почти невозможного: прилетел сюда на военном самолете, который вез ордена и дензнаки.

Узнав от Кетлинской мой адрес, А. явился вечером ко мне. Мне позвонили по внутреннему телефону из кабинета Бориса Яковлевича, что меня хочет видеть «писатель из Москвы».

Писатель из Москвы? Боже мой! Закутавшись в платок, я сбежала вниз, в этот ледяной мрак.

При свете коптилки я увидала А. Лицо его мне было знакомо. Но, как это часто бывает со мной, я не знала, кто это.

И все же, почти незнакомый, как он был мне дорог! Это был человек оттуда.

Я обняла его. Я себя не помнила от радости. Усадила его на диван.

– Говорите, рассказывайте, – повторяла я.

Он смотрел на меня с нежностью и жалостью. Изменилась я, наверно.

В разговоре он, как о чем-то таком, что мне уже известно, сказал о гибели Афиногенова в Москве.

– Не может быть! – закричала я, вспомнив афиногеновские глаза, веселую, плутовскую ямку на щеке, его легкую поступь по жизни: ему все удавалось. – Погиб!..

Неправда! Не может быть! – Но тут же поникла головой. – Нет, правда. Наверное, так и есть.

А. пришел на другой день. Мы прошлись с ним по больничному двору. Он смотрел на наши здания, на оледенелые деревья. На лица людей. Он не мог говорить. Он был ошеломлен.

Теперь он уже улетел в Москву.

17 января 1942 года

Полчаса тому назад был короткий, но довольно сильный обстрел. Когда он кончился, И. Д. ушел на главный почтамт отправить деньги своим и Жанне. Районные почтовые отделения не работают: нет света, о тепле уже не приходится говорить. А в одном, где, по слухам, была свеча, все до одного не вышли на работу: больны или умерли. Из-за отсутствия света не работает и банк. В частности, я по этой причине не могу получить деньги на радио. Говорят, что будут платить в третьей декаде января.

Хорошие вести с фронта. На радио сказали мне, что Федюнинский начал генеральное наступление. И что в районе озера Ильмень идут бои, о которых немцы пишут, что по масштабам они превосходят московские. Но эти, быть может последние, испытания Ленинграда – самые тяжкие.

А тут еще морозы.

Леля П., которую мы устроили сестрой-хозяйкой в военный госпиталь, захворала воспалением легких и лежит у нас. Я навещаю ее.

20 января 1942 года.

Утро

Так занята своей поэмой и хозяйством, что просто не хватает времени ежедневно писать дневник, как этого хотелось бы.

За эти дни я исправила и перемонтировала первую главу. Теперь те места, которые мне казались сильными, пришлось переставить, так как новые строфы их забивают. Переписала наново место о гуманизме. Никогда еще не работала с такой страстью. Даже ночью я пишу лежа и не могу остановиться. Умираю от усталости, а все продолжаю думать, и все важно. Что ни вижу – всему находится место, как в приготовленном гнезде. Это первый признак, что сознание целиком отдано работе и все усваивает. В воскресенье (опять под обстрелом) пошли на Песочную. Квартира наша ужасна. Ледяной хаос. Температура минус пять.

Марфуша – Лелина работница (иждивенческая карточка) – умерла 13-го числа.

В столовой – грязные кровати, сор, пустые бутылки из-под постного масла, коптилка, топор, щепа. На всем слой жирной сажи. На стенах, покрытых копотью, по-прежнему висят тарелки: фарфор и фаянс.

В третьей комнате, где от давнишней бомбежки выбито стекло, ледяные грязные простыни. Напущенная в ванну вода замерзла. Студенческое общежитие перевели в нижние этажи. Там теплее.

Ночью Дина Осиповна и Инна выходят на лестницу и сидят, прижавшись к теплым радиаторам (лестница еще отапливалась). Здесь, по их словам, они приходят в «радостное настроение» и мечтают о будущем.

От Жанны по прежнему ничего. Последнее ее письмо, посланное еще в ноябре, было тревожно. Мальчик был смертельно болен. Жанна писала:

«Мы с Юрой не раздевались вовсе и по очереди давали Мише кислород. Он, как птенчик, открывал свой ротик, когда ему подносили трубку. Вообще же он все время держался молодцом (если так можно сказать про десятимесячного крошку), переносил самые суровые банки и горчичники, принимал лекарства».

Единственное мое утешение в том, что после этого письма было другое, где сказано, что Мишеньке легче.

Сегодня 28 градусов мороза.

20 января 1942 года.

Вечер

«Меридиан» двигается отлично. Даже по ночам не дает спать: требует, чтобы я его писала. Только бы хватило здоровья и сил!..

21 января 1942 года

Важные новости: прибавили хлеба. Рабочим по 50 граммов, служащим – 100.

Большие успехи на Калининском фронте: мы взяли Холм.

У нас жестокий мороз: чуть ли не 35 градусов.

25 января 1942 года

Вчера, оказывается, было 40 градусов, да и сегодня как будто не меньше. Послезавтра Мишеньке год. Его первая погремушка (целлулоидный барабанчик с горошиной внутри) висит на ленточке у моего изголовья.

Читала больным в нашей глазной клинике.

7 часов вечера

Положение катастрофическое. Сейчас люди напали на деревянный забор больницы и растащили его на дрова.

Воды нет. И если завтра остановится хлебозавод хотя бы на один день – что будет? У нас сегодня нет супа, одна каша. Утром был кофе, но больше ничего жидкого не будет.

Из воды у нас: половина чайника (мы храним его в горячем песке), половина кастрюльки для умывания и четверть графина на завтра. Все.

26 января 1942 года

Впервые заплакала от горя и злости: нечаянно вывернула в печку кастрюльку с кашей. И. Д. все же проглотил несколько ложек, смешанных с золой.

Хлеба до сих пор нет. Но зато я написала три очень хороших строфы: концовку главы «Свет и тепло».

Пишется мне как никогда. Но плохо сплю по ночам: все немеют пальцы рук. Сначала мелкие иглы, потом крупнее, крупнее, реже, реже. И, наконец, полное омертвение. Руки отмирают.

27 января 1942 года

Хлебозавод все же не прекратил работу, как мы этого боялись. Когда водопровод перестал работать, 8 тысяч комсомольцев – так же, как и все, ослабевшие от голода, озябшие, – стали конвейером от Невы до пекарских столов завода и подавали туда воду ведрами, из рук в руки.

Вчера у булочных очереди были громадные, хлеб привезли только к вечеру. Но все же он был.

Сегодня (и даже как раз в этот час, в полночь) Мишеньке исполнился год.

29 января 1942 года

«Хозяйство» отнимает все больше времени. Печка, чайник, мытье посуды, разогревание супа или каши, штопка и мелкая стирка берут половину дня.

Сегодня произвела кардинальную уборку, о которой мечтала уже давно. Большую часть носильных вещей аккуратно сложила в большой дорожный мешок. До лучших дней. До воды, до света, возможно – до снятия блокады. Вторую часть, самое необходимое, умолила Евфросинью Ивановну постирать знаменитой водой из речки Карповки, которая одна только и моет и поит нас. Пропускаем ее через восемь слоев марли, но и после этого вода ужасна.

Платья нарядные спрятала на самое дно чемодана. Резиновые ботики, смятые и с признаками трещин, расправила, набила бумагой, завернула в тряпки – как на зимовке.

Пишущую машинку спрятала: лента очень сохнет от холода. Лампу электрическую убрала со стола за полной ненадобностью.

Теперь все в полном порядке. Но я два дня не работала. С хлебом трудно. Его привозят небольшими партиями, прямо с хлебозавода, мокрым и смятым. Очереди большие.

30 января 1942 года

За эти несколько дней изменились не только лица, – изменился и лик самого города. Исчезли заборы, в том числе и наш. Но прекрасные столетние березы и липы не тронуты.

Образовалась какая-то новая топография: переходы, переулки, сокращения, проходные дворы.

Сегодня состоялась панихида по профессору А. А. Лихачеву. Труп без гроба (привезли потом) лежал в конференц-зале, на овальном столе, на куске фанеры.

Умерший был в простыне. Вокруг стола в ледяной комнате стояли профессора и ассистенты. И. Д. произнес речь. Я смотрела на него. Он снял меховую шапку, но черной шелковой шапочки не снял – слишком холодно было. А сам такой худой, желтый.

Его речь была в хорошем традиционном стиле, с латинским «Sursum corda!» («Воспрянем духом!») в конце.

31 января 1942 года

Трубы, проложенные в земле, лопаются оттого, что вода в них неподвижна. Моторы не гонят ее. Когда вода в движении, она как бы спасается бегством от мороза. Теперь же он настигает ее, неподвижную. И она разрывает трубы, замерзая.

2 февраля 1942 года

Писать хочется, как иногда – есть. По существу работаю ночью, вместо того чтобы спать. Как только ложусь, мозг как бы говорит: «Вот теперь настал мой час. Начнем!» И мы начинаем.

Я сплю так неглубоко, так поверхностно, что стоит мне только наполовину проснуться, как я уже нахожу в своем сознании строку или даже строфу. Они как бы стоят ночью у двери и ждут, чтобы их впустили. И как только намечается малейшая щелочка – они уже тут.

Наташа видела у входа в какую-то из клиник два обнявшихся трупа.

Уже достоверно известно, что Лавин и Хацревин погибли в Киеве.

3 февраля 1942 года.

Вечером

Ни разу мне не было так тяжело, как сейчас. Две коптилки выматывают душу. Хочется света, как хлеба, как иногда воздуха. А тут еще я снова опрокинула – на этот раз суп, вынимая его из печки. Пришлось возиться со скользким холодным полом (хорошо, что он каменный).

Так смутно на душе, что даже почти не могу писать. Хотя сегодня кое-что все же сделала.

Леля очень хорошо сказала, что, если бы она потрогала собаку или кошку, живое, теплое существо («зверя», как она сказала), ей было бы легче. Или хотя бы услышала лай или мяуканье. Порой тишина сводит меня с ума. Сейчас хотя бы: ни звука, ни шороха.

За стеной, в шубе, немытая и не раздевающаяся уже, наверное, месяца три, спит Софья Васильевна, лаборантка И. Д. Она на грани безумия от страха потерять продовольственные карточки. И она действительно теряет их вот уже третий месяц подряд. Я даже не знаю, чем она живет. Ведь это голодная смерть.

Пишу, пишу… Хотя бы наши вернулись скорее из райкома!.. Ледяные черные коридоры. Я все вспоминаю мать и дочь, точно сошедших со страниц Достоевского, Мать – пенсионерка, при ней дочь Люля, шестнадцати лет: дитя в капоре и с муфточкой. Расширенные, удивленные глаза. Какая-то аферистка выследила их в хлебной очереди, подошла, познакомилась, втерлась в доверие, стала ходить на дом и, наконец, обещала устроить Люлю судомойкой в военный госпиталь № 21. Принесла бумажку с резолюцией начальника о зачислении на должность (все фальшивое). И госпиталь такой неизвестно, есть ли. В начале месяца (как раз тогда, когда выдают продовольственные карточки) «благодетельница» явилась за матерью с дочкой. В восемь часов вечера, в полной темноте, повела их в наше главное здание (очевидно, сама она работает именно здесь: санитаркой или еще кем-нибудь). Взяла у девочки обе карточки, ее и матери, за весь месяц и сорок пять рублей денег, взятые матерью у кого-то взаймы. Все это якобы для выкупа продуктов. И тут же в темноте исчезла.

Девочка слышала ее голос: «Я здесь. Здесь. Идите за мной». Совсем как в «Крысолове» Грина. И все было кончено.

Нельзя забыть эту мать и дочь. Мать раздирающим душу голосом все повторяла:

– Люля, Люля, что ты со мной сделала! Ты меня живую в гроб уложила!

А Люля, судорожно прижимая муфточку к груди, глядя в одну точку, шептала:

– Какая ночь предстоит! Какая ночь!

Очевидно, боялась, что мать затерзает ее слезами.

Мы стали тут же писать заявление в милицию. Но что значит сейчас такое заявление? И что может сделать милиция?

Так мы и не знаем, что с ними обеими сталось.

5 февраля 1942 года

Все наши уехали в Смольный. Опять началось какое-то движение в смысле эвакуации. Чего доброго, тронемся и мы. Куда? Кажется, в Иркутск.

9 февраля 1942 года

Сколько всяких дел, а, как назло, нестерпимо хочется писать. Была на совещании писателей-балтийцев.

Я получила туда приглашение через Вишневского. Совещание должно было продолжаться два дня и происходить на Васильевском острове, далеко от нас. Это была целая экспедиция с ночевкой.

Снова началось великое штопание шерстяных чулок и варежек и накапливание продуктов. На главной кухне мне взамен двух обедов и завтраков дали два яйца, почти хороших, и брусочек плавленного сыра. И. Д., со своей стороны, выдал мне четверть плитки шоколада из аварийного запаса, так что я была снаряжена богато.

Начало было назначено на десять часов утра, точно, без опоздания, как на корабле.

В этот день мы встали в шесть утра: один только путь должен был отнять не меньше двух часов. Да и ходим мы теперь медленно.

Утро было необычайно прекрасное. Чем лютей мороз, тем нежнее его краски, – это уже проверено.

Мы вышли из дому, когда солнце подымалось.

На Большом проспекте, где глубоко под снегом были погребены трамвайные пути, догорал дом. Его, видимо, гасили всю ночь. Удивительнее всего то, что была вода. Она еще текла из пожарного крана и запрудила всю улицу. Это было большое озеро, розовое от утренней зари. Белый пар реял над ним.

В черных окнах сгоревшего дома, пересеченное балками, стояло громадное алое солнце в разных фазах: то полумесяцем, то серпом, то огненным полнолуньем.

Заглядевшись на солнце, я провалилась по колено в густую кашу из воды, снега и льда. Я очутилась как бы в ледяном сапоге, стиснувшем мне ногу. Так и шла всю дорогу. И только на самом совещании пластинки льда стали отваливаться от войлока. В конце первого дня, после доклада и выступления, меня попросили почитать. Я прочла «Свет и тепло», вторую главу, еще не совсем законченную.

Мы с Кетлинской, как женщины и гостьи, ночевали комфортабельно: за занавесками, на койках, в той же комнате, где заседали. Она была сизая от папиросного и трубочного дыма, но зато в ней было тепло от человеческого дыхания и от маленькой, но очень ревностной печурки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.